



**Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ**

**Очерки гоголевского периода русской литературы**

(Сочинения Николая Васильевича Гоголя.  
Четыре тома. Издание второе. Москва. 1855;  
Сочинения Николая Васильевича Гоголя,  
найденные после его смерти.  
Похождения Чичикова или Мертвые души.  
Том второй (пять глав). Москва, 1855)

<...>

Критика вообще развивается на основании фактов, представляемых литературою, произведения которой служат необходимыми данными для выводов критики. Так, вслед за Пушкиным с его поэмами в байроновском духе и «Евгением Онегиным» явилась критика «Телеграфа»<sup>1</sup>, когда Гоголь приобрел господство над развитием нашего самосознания, явилась так называемая критика 1840-х годов<sup>2</sup>... Таким образом, развитие новых критических убеждений каждый раз было следствием изменений в господствующем характере литературы. Понятно, что и наши критические воззрения не могут иметь притязаний ни на особенную новизну, ни на удовлетворительную законченность. Они выведены из произведений, представляющих только некоторые предвестия, начатки нового направления в русской литературе, но еще не выказывающих его в полном развитии, и не могут содержать более того, что дано литературою. Она еще не далеко ушла от «Ревизора» и «Мертвых душ», и наши статьи не могут много отличаться по своему существенному содержанию от критических статей, явившихся на основании «Ревизора» и «Мертвых душ». <...>

\* \* \*

Читатели могли видеть уже из того, что нами сказано, и увидят еще яснее из продолжения наших статей, что мы не считаем сочинения Гоголя безусловно удовлетворяющими всем современным потребностям

русской публики, что даже в «Мертвых душах» \* мы находим стороны слабые или, по крайней мере, недостаточно развитые, что, наконец, в некоторых произведениях последующих писателей мы видим залюги более полного и удовлетворительного развития идей, которые Гоголь обнимал только с одной стороны, не сознавая вполне их сцепления, их причин и следствий. И, однако же, мы осмелимся сказать, что самые

---

\* Мы говорим здесь только о первом томе «Мертвых душ», как и везде, где не означено, что речь идет о втором. Кстати, надобно сказать хотя несколько слов о втором томе, пока придет нам очередь разбирать его подробно, при обзоре сочинений Гоголя. Напечатанные ныне пять глав второго тома «Мертвых душ» уцелели только в черновой рукописи, и, без сомнения, в окончательной редакции имели совершенно не тот вид, в каком теперь мы читаем их — известно, что Гоголь работал туго, медленно и только после множества поправок и переделок успевал придать истинную форму своим произведениям. Это обстоятельство, значительно затрудняющее при решении вопроса: «ниже или выше первого тома “Мертвых душ” в художественном отношении было бы их продолжение, окончательно обработанное автором», не может еще заставить нас совершенно отказаться от суждения о том, потерял или сохранил Гоголь всю громадность своего таланта в эпоху нового настроения, выразившегося «Перепискою с друзьями». Но общий приговор о всем черновом эскизе, сохранившемся от второго тома, делается невозможным потому, что этот отрывок сам, в свою очередь, есть собрание множества отрывков, написанных в различное время, под влиянием различных настроений мысли, и, кажется, написанных по различным общим планам сочинения, наскоро перечерканных без пополнения вычеркнутых мест, — отрывков, разделенных пробелами, часто более значительными, нежели самые отрывки, наконец, потому, что многие из сохранившихся страниц были, как видно, отброшены самим Гоголем, как неудачные, и заменены другими, написанными совершенно вновь, из которых иные — быть может, в свою очередь также отброшенные — дошли до нас, другие — и, вероятно, большее число — погибли. Все это заставляет нас рассматривать каждый отрывок порознь и произносить суждение не о «пяти главах» «Мертвых душ», как целом, хотя и черновом эскизе, а только о различной степени достоинств различных страниц, не связанных ни единством плана, ни единством настроения, ни одинаковостью довольства ими в авторе, ни даже единством эпохи их сочинения. Многие из этих отрывков решительно так же слабы и по выполнению и особенно по мысли, как слабейшие места «Переписки с друзьями»; таковы особенно отрывки, в которых изображаются идеалы самого автора, например, дивный воспитатель Тентетникова, многие страницы отрывка о Костанжогло, многие страницы отрывка о Муразове; но это еще ничего не доказывает. Изображение идеалов было всегда слабейшею стороною в сочинениях Гоголя и, вероятно, не столько по односторонности таланта, которой многие приписывают эту неудачность, сколько именно по силе его таланта, состоявшей в необыкновенно тесном родстве с действительностью: когда действительность представляла идеальные лица, они превосходно выходили у Гоголя, как, например, в «Тарасе Бульбе» или даже в «Невском проспекте» (лицо художника Пискарева). Если же действительность не представляла идеальных лиц или представляла в положениях, недоступных искусству — что оставалось делать Гоголю? Выдумывать их? Другие, привыкшие лгать, делают это довольно искусно; но Гоголь никогда не умел выдумывать, он сам говорит

безусловные поклонники всего, что написано Гоголем, превозносящие до небес каждое его произведение, каждую его строку, не сочувствуют так живо его произведениям, как сочувствуем мы, не приписывают его деятельности столь громадного значения в русской литературе, как приписываем мы. Мы называем Гоголя без всякого сравнения величайшим из русских писателей по значению. По нашему мнению, он имел полное

---

это в своей «Исповеди», и выдумки у него выходили всегда неудачны. В числе отрывков второго тома «Мертвых душ» много выдуманых, и нельзя не видеть, что они произошли от сознательного желания Гоголя внести в свое произведение отрадный элемент, о недостатке которого в его прежних сочинениях так многие и так много и громко кричали и жужжали ему в уши. <...> Мы не можем, однако же, не сказать прямо, что понятия, внушившие Гоголю многие страницы второго тома «Мертвых душ», недостойны ни его ума, ни его таланта, ни особенно его характера, в котором, несмотря на все противоречия, донныне остающиеся загадочными, должно признать основу благородную и прекрасную. Мы должны сказать, что на многих страницах второго тома, в противоречие с другими и лучшими страницами, Гоголь является адвокатом закоснелости; впрочем, мы уверены, что он принимал эту закоснелость за что-то доброе, обольщаясь некоторыми сторонами ее, с односторонней точки зрения могущими представляться в поэтическом или кротком виде и закрывать глубокие язвы, которые так хорошо видел и добросовестно изобличал Гоголь в других сферах, более ему известных, и которых не различил в сфере действий Костанжогло, ему не столь хорошо знакомой. В самом деле, второй том «Мертвых душ» изображает быт, которого Гоголь почти не касался в прежних своих сочинениях. Прежде у него на первом плане постоянно были города и их жители, преимущественно чиновники и их отношения; даже в первом томе «Мертвых душ», где является так много помещиков, они изображаются не в своих деревенских отношениях, а только как люди, входящие в состав так называемого образованного общества, или чисто с психологической стороны. Коснуться не вскользь сельских отношений Гоголь вздумал только во втором томе «Мертвых душ», и новость его на этом поприще может до некоторой степени объяснить его заблуждения. Быть может, при ближайшем изучении предмета многие из набросанных им картин совершенно изменили бы свой колорит в окончательной редакции. Так или нет, но во всяком случае мы имеем положительные основания утверждать, что каковы бы ни были некоторые эпизоды во втором томе «Мертвых душ», преобладающий характер в этой книге, когда б она была окончена, остался бы все-таки тот же самый, каким отличается и ее первый том и все предыдущие творения великого писателя. В этом ручаются нам первые же строки изданных ныне глав:

«Зачем же изображать бедность, да бедность, да несовершенство нашей жизни, выкапывая людей из глуши, из отдаленных закоулков государства? — Что ж делать, если уже таковы свойства сочинителя, и, заболев собственным несовершенством, уже не может он изображать ничего другого, как только бедность, да бедность, да несовершенства нашей жизни, выкапывая людей из глуши, из отдаленных закоулков государства?..»<sup>4</sup> Очевидно, что это место, служащее программой второму тому, написано уже тогда, как Гоголь был сильно занят толками о мнимой односторонности его произведений; когда он, считая эти толки справедливыми, уже объяснял свою мнимую односторонность собственными нравственными слабостями, — одним словом, оно принадлежит эпохе «Переписки с друзьями»; и однако же программу художника остается, как видим, прежняя программа

право сказать слова, безмерная гордость которых смутила в свое время самых жарких его поклонников и которых неловкость понятна и нам:

«Русь! Чего ты хочешь от меня? Какая непостижимая связь таится между нами? Что глядишь ты так, и зачем *все, что ни есть в тебе, обратило на меня полные ожидания очи?*»<sup>3</sup>

Он имел полное право сказать это, потому что как ни высоко ценим мы значение литературы, но все еще не ценим его достаточно: она неизмеримо важнее почти всего, что ставится выше ее. Байрон в истории человечества лицо едва ли не более важное, нежели Наполеон, а влияние

---

«Ревизора» и первого тома «Мертвых душ». Да, Гоголь-художник оставался всегда верен своему призванию, как бы ни должны мы были судить о переменах, происшедших с ним в других отношениях. И действительно, каковы бы ни были его ошибки, когда он говорит о предметах для него новых, — но нельзя не признаться, перечитывая уцелевшие главы второго тома «Мертвых душ», что едва он переходит в близко знакомые ему сферы отношений, которые изображал в первом томе «Мертвых душ», как талант его является в прежнем своем благородстве, в прежней своей силе и свежести. В уцелевших отрывках есть очень много таких страниц, которые должны быть причислены к лучшему, что когда-либо давал нам Гоголь, которые приводят в восторг своим художественным достоинством, и, что еще важнее, правдивостью и силою благородного негодования. Не перечисляем этих отрывков, потому что их слишком много; укажем только некоторые: разговор Чичикова с Бетрищевым о том, что все требуют себе поощрения, даже воры, и анекдот, объясняющий выражение: «полюби нас черненькими, а беленькими нас всякий полюбит», описание мудрых учреждений Кашкарева, судопроизводство над Чичиковым и гениальные поступки опытного юрисконсульта; наконец, дивное окончание отрывка — речь генерал-губернатора, ничего подобного которой мы не читали еще на русском языке, даже у Гоголя. Эти места человека самого предубежденного против автора «Переписки с друзьями» убедят, что писатель, создавший «Ревизора» и первый том «Мертвых душ», до конца жизни остался верен себе как художник, несмотря на то, что как мыслитель мог заблуждаться; убедят, что высокое благородство сердца, страстная любовь к правде и благу всегда горели в душе его, что страстную ненависть ко всему низкому и злему до конца жизни кипел он. Что же касается чисто юмористической стороны его таланта, каждая страница, даже наименее удачная, представляет доказательства, что в этом отношении Гоголь всегда оставался прежним, великим Гоголем. Из больших отрывков, проникнутых юмором, всеми читателями второго тома «Мертвых душ» были замечены удивительные разговоры Чичикова с Тентетниковым, с генералом Бетрищевым, превосходно очерченные характеры Бетрищева, Петра Петровича Петуха и его детей, многие страницы из разговоров Чичикова с Платоновыми, Костанжогло, Кашкаревым и Хлобуевым, превосходные характеры Кашкарева и Хлобуева, прекрасный эпизод поездки Чичикова к Леницыну, и, наконец, множество эпизодов из последней главы, где Чичиков попадает под суд. Одним словом, в этом ряде черновых отрывков, которые нам остались от второго тома «Мертвых душ», есть слабые, которые, без сомнения, были бы переделаны или уничтожены автором при окончательной отделке романа, но в большей части отрывков, несмотря на их неотделанность, великий талант Гоголя является с прежнею своею силою, свежестью, с благородством направления, врожденным его высокой натуре.

Байрона на развитие человечества еще далеко не так важно, как влияние многих других писателей, и давно уже не было в мире писателя, который был бы так важен для своего народа, как Гоголь для России.

Прежде всего скажем, что Гоголя должно считать отцом русской прозаической литературы, как Пушкина — отцом русской поэзии. Спешим прибавить, что это мнение не выдуманно нами, а только извлечено из статьи «О русской повести и повестях г. Гоголя», напечатанной ровно двадцать лет тому назад («Телескоп», 1835, часть XXXVI) и принадлежащей автору «Статей о Пушкине»<sup>5</sup>. Он доказывает, что наша повесть, начавшаяся очень недавно, в двадцатых годах нынешнего столетия, первым истинным представителем своим имела Гоголя. Теперь, после того как явились «Ревизор» и «Мертвые души», надобно прибавить, что точно так же Гоголь был отцом нашего романа (в прозе) и прозаических произведений в драматической форме, то есть вообще русской прозы (не надобно забывать, что мы говорим исключительно об изящной литературе). В самом деле, истинным началом каждой стороны народной жизни надобно считать то время, когда эта сторона раскрывается заметным образом, с некоторою энергиею, и прочным образом утверждает за собою место в жизни, — все предшествующие отрывочные, исчезающие без следа, эпизодические проявления должны быть считаемы только порывами к осуществлению себя, но еще не действительным существованием. Так, превосходные комедии Фонвизина, не имевшие влияния на развитие нашей литературы, составляют только блестящий эпизод, предвещающий появление русской прозы и русской комедии. Повести Карамзина имеют значение только для истории языка, но не для истории оригинальной русской литературы, потому что русского в них нет ничего, кроме языка. Притом же и они скоро были подавлены наплывом стихов. При появлении Пушкина русская литература состояла из одних стихов, не знала прозы и продолжала не знать ее до начала тридцатых годов. Тут — двумя или тремя годами раньше «Вечеров на хуторе», наделал шума «Юрий Милославский»<sup>6</sup>, — но надобно только прочитать разбор этого романа, помещенный в «Литературной газете»<sup>7</sup>, и мы осязательно убедимся, что если «Юрий Милославский» нравился читателям, не слишком требовательным относительно художественных достоинств, то для развития литературы он и тогда не мог считаться важным явлением, — и действительно, Загоскин имел только одного подражателя — себя самого. Романы Лажечникова имели более достоинства, — но не столько, чтобы утвердить право литературного гражданства за прозою. Затем остаются романы Нарезного, в которых несколько эпизодов, имеющих несомненное достоинство, служат только к тому, чтобы ярче выставить неуклюжесть рассказа и несообразность сюжетов с русскою жизнью.

Они, подобно Ягубу Скупалову<sup>8</sup>, более походят на лубочные изделия, нежели на произведения литературы, принадлежащей образованному обществу. Русская повесть в прозе имела более даровитых деятелей, — между прочими Марлинского, Полевого, Павлова. Но характеристику их представляет статья, о которой мы говорили выше, и для нас довольно будет сказать, что повести Полевого признавались самыми лучшими из всех, существовавших до Гоголя, — кто забыл их и хочет составить себе понятие о их отличительных качествах, тому советую прочесть превосходную пародию, помещенную некогда в «Отечественных записках» (если не ошибаемся, 1843 г.) — «Необыкновенный поединок»<sup>9</sup> <...>. Во всяком случае, повести были несравненно лучше романов, и если автор статьи, о которой мы упоминали, подробно обзрев все существовавшие до Гоголя повести, приходит к заключению, что, собственно говоря, «у нас еще не было повести» до появления «Вечеров на хуторе» и «Миргорода», то еще несомненное, что у нас не существовало романа. Были только попытки, доказывавшие, что русская литература готовится иметь роман и повесть, обнаруживавшие в ней стремление к произведению романа и повести. Относительно драматических произведений нельзя сказать и этого: прозаические пьесы, дававшиеся на театре, были чужды всяких литературных качеств, как водевили, переделываемые ныне с французского.

Таким образом, проза в русской литературе занимала очень мало места, имела очень мало значения. Она стремилась существовать, но еще не существовала.

В строгом смысле слова, литературная деятельность ограничивалась исключительно стихами. Гоголь был отцом русской прозы, и не только был отцом ее, но быстро доставил ей решительный перевес над поэзией, перевес, сохраняемый ею до сих пор. Он не имел ни предшественников, ни помощников в этом деле. Ему одному проза обязана и своим существованием, и всеми своими успехами.

«Как! не имел предшественников или помощников? Разве можно забывать о прозаических произведениях Пушкина?»

— Нельзя, но, во-первых, они далеко не имеют того значения в истории литературы, как его сочинения, писанные стихами: «Капитанская дочка» и «Дубровский» — повести в полном смысле слова превосходные; но укажите, в чем отразилось их влияние? где школа писателей, которых было бы можно назвать последователями Пушкина как прозаика? А литературные произведения бывают одолжены значением не только своему художественному достоинству, но также (или даже еще более) своему влиянию на развитие общества или, по крайней мере, литературы. Но главное — Гоголь явился прежде Пушкина как прозаик. Первыми из прозаических произведений Пушкина (если не считать

незначительных отрывков) были напечатаны «Повести Белкина» — в 1831 году; но все согласятся, что эти повести не имели большого художественного достоинства. Затем, до 1836 года, была напечатана только «Пиковая дама» (в 1834 году) — никто не сомневается в том, что эта небольшая пьеса написана прекрасно, но также никто не припишет ей особенной важности. Между тем Гоголем были напечатаны «Вечера на хуторе» (1831–1832), «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» (1833), «Миргород» (1835) — то есть все, что впоследствии составило две первые части его «Сочинений»; кроме того, в «Арабесках» (1835) — «Портрет», «Невский проспект», «Записки сумасшедшего». В 1836 году Пушкин напечатал «Капитанскую дочку», — но в том же году явился «Ревизор» и, кроме того, «Коляска», «Утро делового человека» и «Нос». Таким образом, большая часть произведений Гоголя, и в том числе «Ревизор», были уже известны публике, когда она знала еще только «Пиковую даму» и «Капитанскую дочку» («Арап Петра Великого», «Летопись села Горюхина», «Сцены из рыцарских времен» были напечатаны уже в 1837 году, по смерти Пушкина, а «Дубровский» только в 1841) — публика имела довольно времени проникнуться произведениями Гоголя прежде, нежели познакомилась с Пушкиным как прозаиком.

В общем теоретическом смысле мы не думаем отдавать предпочтение прозаической форме над поэтической, или наоборот — у каждой из них есть свои несомненные преимущества; но что касается собственно русской литературы, то, смотря на нее с исторической точки зрения, нельзя не признать, что все предыдущие периоды, когда преобладала поэтическая форма, далеко уступают в значении и для искусства, и для жизни последнему, гоголевскому периоду, периоду господства прозы. Что принесет литературе будущее, мы не знаем; мы не имеем оснований отказывать нашей прозе в великой будущности; но должны сказать, что до настоящего времени прозаическая форма была и продолжает быть для нас гораздо плодотворнее стихотворной, что Гоголь дал существование этой важнейшей для нас отрасли литературы, и единственно он доставил ей тот решительный перевес, который она сохраняет до настоящего времени и, по всей вероятности, сохранит еще надолго.

Нельзя сказать, напротив, того, чтобы Гоголь не имел предшественников в том направлении содержания, которое называют сатирическим. Оно всегда составляло самую живую, или, лучше сказать, единственную живую сторону нашей литературы. Не будем делать распространений на эту общепризнанную истину, не будем говорить о Кантемире, Сумарокове, Фонвизине и Крылове, но должны упомянуть о Грибоедове. «Горе от ума» имеет недостатки в художественном отношении, но остается до сих пор одною из самых любимых книг, потому

что представляет ряд превосходных сатир, изложенных то в форме монологов, то в виде разговоров. Почти столь же важно было влияние Пушкина как сатирического писателя, каким он явился преимущественно в «Онегине». И, однако же, несмотря на высокие достоинства и огромный успех комедии Грибоедова и романа Пушкина, должно приписать исключительно Гоголю заслугу прочного введения в русскую изящную литературу сатирического — или, как справедливее будет назвать его, критического направления\*. Несмотря на восторг, возбужденный его комедией, Грибоедов не имел последователей, и «Горе от ума» осталось в нашей литературе одиноким, отрывочным явлением, как прежде комедии Фонвизина и сатиры Кантемира, осталось без заметного влияния на литературу, как басни Крылова\*\*. Что было тому причиною? Конечно, господство Пушкина и плеяды поэтов, его окружавшей. «Горе от ума» было произведением настолько блестящим и живым, что не могло не возбудить общего внимания; но гений Грибоедова не был так велик, чтобы одним произведением приобрести с первого же раза господство над литературою. Что же касается до сатирического направления в произведениях самого Пушкина, то оно заключало в себе слишком мало глубины и постоянства, чтобы производить заметное действие на публику и литературу. Оно почти совершенно пропадало в общем впечатлении чистой художественности, чуждой определенного направления, — такое впечатление производят не только все другие

---

\* В новейшей науке критикою называется не только суждение о явлениях в одной отрасли народной жизни — искусства, литературы или науки, но вообще суждение о явлениях жизни, произносимое на основании понятий, до которых достигло человечество, и чувств, возбуждаемых этими явлениями при сличении их с требованиями разума. Понимая слово «критика» в этом обширнейшем смысле, говорят: «Критическое направление в изящной литературе, в поэзии» — этим выражением обозначается направление, до некоторой степени сходное с «аналитическим направлением, анализом» в литературе, о котором так много говорили у нас. Но различие состоит в том, что «аналитическое направление» может изучать подробности житейских явлений и воспроизводить их под влиянием самых разнородных стремлений, даже без всякого стремления, без мысли и смысла; а «критическое направление» при подробном изучении и воспроизведении явлений жизни проникнуто сознанием о соответствии или несоответствии изученных явлений с нормою разума и благородного чувства. Потому «критическое направление» в литературе есть одно из частных видоизменений «аналитического направления» вообще. Сатирическое направление отличается от критического, как его крайность, не заботящаяся об объективности картин и допускающая утрировку.

\*\* Мы говорим о направлении литературы, о ее духе, стремлениях, а не о развитии литературного языка — в последнем отношении, как уже тысячу раз было замечено в наших журналах, Крылов должен быть считаем одним из предшественников Пушкина.



лучшие произведения Пушкина — «Каменный гость», «Борис Годунов», «Русалка» и проч., но и самый «Онегин»: — у кого есть сильное предрасположение к критическому взгляду на явления жизни, только на того произведут влияние беглые и легкие сатирические заметки, попадающиеся в этом романе; — читателями, не предрасположенными к ним, они не будут замечены, потому что действительно составляют только второстепенный элемент в содержании романа.

Таким образом, несмотря на проблески сатиры в «Онегине» и блестящие филиппики «Горя от ума», критический элемент играл в нашей литературе до Гоголя второстепенную роль. Да и не только критического, но и почти никакого другого определенного элемента нельзя было отыскать в ее содержании, если смотреть на общее впечатление, производимое всею массою сочинений, считавшихся тогда хорошими или превосходными, а не останавливаться на немногих исключениях, которые, являясь случайными, одинокими, не производили заметной перемены в общем духе литературы. Ничего определенного не было в ее содержании, — сказали мы, — потому что в ней почти вовсе не было содержания. Перечитывая всех этих поэтов — Языкова, Козлова и проч., дивишься тому, что на столь бедные темы, с таким скудным запасом чувств и мыслей, успели они написать столько страниц, — хотя и страниц написано ими очень немного — приходишь, наконец, к тому, что спрашиваешь себя: да о чем же они писали? и писали ли они хотя о чем-нибудь, или просто ни о чем? Многих не удовлетворяет содержание пушкинской поэзии, но у Пушкина было во сто раз больше содержания, нежели у его сподвижников, взятых вместе. Форма была у них почти все, под формою не найдете у них почти ничего.

Таким образом, за Гоголем остается заслуга, что он первый дал русской литературе решительное стремление к содержанию, и притом стремление в столь плодотворном направлении, как критическое. Прибавим, что Гоголю обязана наша литература и самостоятельностью. За периодом чистых подражаний и переделок, какими были почти все произведения нашей литературы до Пушкина, следует эпоха творчества несколько более свободного. Но произведения Пушкина все еще очень близко напоминают или Байрона, или Шекспира, или Вальтера Скотта. Не говорим уже о байроновских поэмах и «Онегине», которого несправедливо называли подражанием «Чайльд-Гарольду», но который, однако же, действительно не существовал бы без этого байроновского романа; но точно так же «Борис Годунов» слишком заметно подчиняется историческим драмам Шекспира, «Русалка» — прямо возникла из «Короля Лира» и «Сна в летнюю ночь», «Капитанская дочка» — из романов Вальтера Скотта. Не говорим уже о других писателях той эпохи, — их зависимость от того или другого из европейских поэтов

слишком ярко бросается в глаза. То ли теперь? — повести г. Гончарова, г. Григоровича, Л. Н. Т., г. Тургенева, комедии г. Островского так же мало наводят вас на мысль о заимствовании, так же мало напоминают вам что-либо чужое, как роман Диккенса, Теккерея, Жоржа Санда. Мы не думаем делать сравнения между этими писателями по таланту или значению в литературе; но дело в том, что г. Гончаров представляется вам только г. Гончаровым, только самим собою, г. Григорович также, каждый другой даровитый наш писатель также, — ничья литературная личность не представляется вам двойником какого-нибудь другого писателя, ни у кого из них не выглядывал из-за плеч другой человек, подсказывающий ему, — ни о ком из них нельзя сказать «Северный Диккенс», или «Русский Жорж Санд», или «Теккерей северной Пальмиры». Только Гоголю мы обязаны этою самостоятельностью, только его творения своею высокою самобытностью подняли наших даровитых писателей на ту высоту, где начинается самобытность.

Впрочем, как ни много почетного и блестящего в титуле «основатель плодотворнейшего направления и самостоятельности в литературе», — но этими словами еще не определяется вся великость значения Гоголя для нашего общества и литературы. Он пробудил в нас сознание о нас самих — вот его истинная заслуга, важность которой не зависит от того, первым или десятым из наших великих писателей должны мы считать его в хронологическом порядке. Рассмотрение значения Гоголя в этом отношении должно быть главным предметом наших статей, — дело очень важное, которое, быть может, признали бы мы превосходящим наши силы, если бы большая часть этой задачи не была уже исполнена, так что нам, при разборе сочинений самого Гоголя, остается почти только приводить в систему и развивать мысли, уже высказанные критикою, о которой мы говорили в начале статьи; — дополнений, собственно нам принадлежащих, будет немного, потому что, хотя мысли, нами развиваемые, были высказываемы отрывочно, по различным поводам, однако же, если свести их вместе, то не много останется пробелов, которые нужно дополнить, чтобы получить всестороннюю характеристику произведений Гоголя. Но чрезвычайное значение Гоголя для русской литературы еще не совершенно определяется оценкою его собственных творений: Гоголь важен не только как гениальный писатель, но вместе с тем и как глава школы — единственной школы, которою может гордиться русская литература, — потому что ни Грибоедов, ни Пушкин, ни Лермонтов, ни Кольцов не имели учеников, которых имена были бы важны для истории русской литературы. Мы должны убедиться, что вся наша литература, насколько она образовалась под влиянием нечужеземных писателей, примыкает к Гоголю, и только тогда представится нам в полном размере все его значение для русской

литературы. Сделав этот обзор всего содержания нашей литературы в ее настоящем развитии, мы будем в состоянии определить, что она уже сделала и чего мы должны еще ожидать от нее, — какие залогов будущего представляет она и чего еще недостает ей, — дело интересное, потому что состоянием литературы определяется состояние общества, от которого всегда она зависит.

Как ни справедливы мысли о значении Гоголя, высказанные здесь, — мы можем, нисколько не стесняясь опасениями самохвальства, называть их совершенно справедливыми, потому что они высказаны в первый раз не нами, и мы только усвоили их, следовательно, самолюбие наше не может ими гордиться, оно остается совершенно в стороне, — как ни очевидна справедливость этих мыслей, но найдутся люди, которым покажется, что мы слишком высоко ставим Гоголя. Это потому, что до сих пор еще остается много людей, восстающих против Гоголя. Литературная судьба его в этом отношении совершенно различна от судьбы Пушкина. Пушкина давно уже все признали великим, неоспоримо великим писателем; имя его — священный авторитет для каждого русского читателя и даже не читателя, как, например, Вальтер Скотт авторитет для каждого англичанина, Ламартин и Шатобриан для француза или, чтобы перейти в более высокую область, Гёте для немца. Каждый русский есть почитатель Пушкина, и никто не находит неудобным для себя признавать его великим писателем, потому что поклонение Пушкину не обязывает ни к чему, понимание его достоинств не обуславливается никакими особенными качествами характера, никаким особенным настроением ума. Гоголь, напротив, принадлежит к числу тех писателей, любовь к которым требует одинакового с ними настроения души, потому что их деятельность есть служение определенному направлению нравственных стремлений. В отношении к таким писателям, как, например, к Жоржу Санду, Беранже, даже Диккенсу и отчасти Теккерею публика разделяется на две половины: одна, не сочувствующая их стремлениям, негодует на них; но та, которая сочувствует, до преданности любит их как представителей ее собственной нравственной жизни, как адвокатов ее собственных горячих желаний и задушевнейших мыслей. От Гёте никому не было ни тепло, ни холодно; он равно приветлив и утонченно деликатен к каждому — к Гёте может являться каждый, каковы бы ни были его права на нравственное уважение — уступчивый, мягкий и в сущности довольно равнодушный ко всему и ко всем, хозяин никого не оскорбит не только явную суровостью, даже ни одним щекотливым намеком. Но если речи Диккенса или Жоржа Санда служат утешением или подкреплением для одних, то уши других находят в них много жесткого и в высшей степени неприятного для себя. Эти люди живут только для

друзей; они не держат открытого стола для каждого встречного и поперечного; иной, если сядет за их стол, будет давиться каждым куском и смущаться от каждого слова, и, убежав из этой тяжелой беседы, вечно будет он «поминать лихом» сурового хозяина. Но если у них есть враги, то есть и многочисленные друзья; и никогда «незлюбивый поэт» не может иметь таких страстных почитателей, как тот, кто, подобно Гоголю, «питая грудь ненавистью» ко всему низкому, пошлому и пагубному, «враждебным словом отрицанья» против всего гнусного «проповедует любовь»<sup>10</sup> к добру и правде. Кто гладит по шерсти всех и всё, тот, кроме себя, не любит никого и ничего; кем довольны все, тот не делает ничего доброго, потому что добро невозможно без оскорбления зла. Кого никто не ненавидит, тому никто ничем не обязан.

Гоголю многим обязаны те, которые нуждаются в защите; он стал во главе тех, которые отрицают злое и пошлое. Потому он имел славу возбудить во многих вражду к себе. И только тогда будут все единоголосны в похвалах ему, когда исчезнет все пошлое и низкое, против чего он боролся!<sup>11</sup> <...>

## Эстетические отношения искусства к действительности

<...>

Уважение к действительной жизни, недоверчивость к априорическим, хотя бы и приятным для фантазии, гипотезам, вот характер направления, господствующего ныне в науке. Автору кажется, что необходимо привести к этому знаменателю и наши эстетические убеждения, если еще стоит говорить об эстетике. <...>

Выражение: «прекрасным называется полное проявление идеи в отдельном предмете» — вовсе не определение прекрасного. Но в нем есть справедливая сторона — то, что «прекрасное» есть отдельный живой предмет, а не отвлеченная мысль; есть и другой справедливый намек на свойство истинно художественных произведений искусства: они всегда имеют содержанием своим что-нибудь интересное вообще для человека, а не для одного художника <...>.

<...>

Мы бескорыстно любим прекрасное, мы любимся, радуемся на него, как радуемся на милого нам человека. Из этого следует, что в прекрасном есть что-то милое, дорогое нашему сердцу. Но это «что-то» должно